

Полный текст интервью с Евгением Водолазкиным.

Текст Галина Батюк

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» посетит известный писатель, литературовед, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Евгений Водолазкин (Санкт-Петербург).

«Я немного средневековый человек»

Здравствуйте, Евгений Германович! Вы приглашены на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» в качестве почетного гостя. Кажется, Вам уже доводилось бывать в Сибири, однако Алтай предстоит посетить в первый раз...

На Алтае я действительно, даст Бог, окажусь впервые, но я неоднократно бывал в Иркутске, что недалеко по русским меркам. Я очень люблю этот город, и мне почему-то кажется, что так же я полюблю и Алтай. Есть места, которые заранее симпатичны и в которые едешь, чтобы их полюбить. Опять-таки это подсказывает мой опыт общения с Иркутском: такого внимательного, умного, преданного читателя, как там, ещё надо поискать. Существуют места, которые дарят России больших писателей, например, с Иркутском связаны Распутин и Вампилов. Там сохраняется традиция особого отношения к слову, к литературе, и я не сомневаюсь, что примерно так же обстоят дела на родине великого Шукшина.

Как филолог, вы, безусловно, знакомы с творчеством Василия Макаровича. Есть ли у вас при этом какое-то личное отношение к его работам? Например, гость прошлогоднего фестиваля Гузель Яхина отмечала, что Шукшин стал значим для неё, когда она жила в Германии и скучала по родине.

Знаете, Шукшин для меня – это действительно один из символов России. И особенно мне нравятся его короткие рассказы. Это чеховская традиция, потому что непревзойденные образцы таких рассказов дал, прежде всего, Чехов. Но Шукшин – это, конечно, не Чехов, это совершенно другой писатель. Чеховская глубина и тонкость у него соединены с щемящим чувством к так называемому простому человеку (я говорю «так называемый», потому что простых людей нет, все как-то сложно устроены). Но у Чехова простые люди – это не то, чем он знаменит в первую очередь, а у Шукшина «чудики», которые, на мой взгляд, украшают мир, иногда помогают мириться с тем, что происходит в нашей стране. Порой задумываешься: «Ну что такое? Почему то не получается и это не получается?», но всё компенсируется совершенно особым состоянием духа, потому что нельзя быть мечтателем и дельцом, тут что-то одно. И когда что-то у нас не идет по западному, думаешь: а есть ли там такие люди, как шукшинские герои?

Кроме того, в Шукшине я вижу традиции Лескова: у него ведь тоже «чудики», у него в первую очередь «чудики». Если праведник, то квартальный или инженер, то есть люди совершенно неожиданные. Он видит и находит праведничество там, где его вроде не должно быть. Шукшин, как и Лесков, учит находить радость жизни в совершенно неожиданных местах. Он видит интересные вещи там, где их по определению не может быть. Эта лесковская линия – а я очень люблю Лескова – для меня совершенно очевидна в Шукшине. Понимаете, у Шукшина, с одной стороны, хорошее знание предшественников, а с другой, знание жизни, это очень редкое сочетание. И его рассказы, с одной стороны, лежат в литературной традиции, а с другой, они абсолютно новы и свежи, поэтому такое удовольствие его читать.

Если я правильно помню, Вы когда-то занимались Лесковым...

Да, мои научные занятия начались с Лескова. Это моя первая научная любовь, которая, в общем, осталось до сих пор.

Современная русская литература продолжает традицию Чехова, Лескова и Шукшина?

Вообще, литература в последнее время шла по другому руслу. Видите, в 90-е годы литература рвала с традицией. 90-е годы – это такой полет в пространстве, не касаясь земли. Литература испытывала жанры на прочность, экспериментировала. Но сейчас литература активно возвращается к традиции и вообще возвращается в общество, потому что общество в 90-е годы жило во многом без литературы, жизнь была иногда интереснее (в слово «интереснее» я не вкладываю ничего хорошего).

На данный момент среди мастеров короткого рассказа можно назвать Анну Матвееву, а если говорить о внутренних качествах, может быть, некоторые короткие вещи Захара Прилепина, хотя это немного другое. Но я думаю, что у Шукшина будут последователи в ближайшем будущем.

Разделяете ли Вы личность Василия Макаровича на Шукшина-писателя и Шукшина-кинорежиссера или же считаете, что это проявление различных сторон какого-то одного явления, что он говорит разными способами об одном и том же?

Конечно, человек один, автор один. У меня нет никакого сомнения, что раздвоения личности у Василия Макаровича не было, но он всё-таки пользуется разными языками, потому что литература и кино – это разные языки. Это интересное сочетание – кино и литература. Мне это как раз сейчас близко, потому что, возможно, скоро экранизируют роман «Лавр». Я понял, что нельзя буквально воспроизводить литературный текст в кино. Кино и литература работают по совершенно разным законам: литература рассказывает, а кино показывает. Эта разница между текстом и картинкой фундаментальна. И как мне сказал один режиссер, мне бы хотелось, чтобы вы принимали участие в создании сценария, потому что только писатель способен разрушить свое произведение до конца для того, чтобы создать на обломках новое, но на другом языке, на языке кино. Мне кажется, что Шукшин прекрасно владел обоими языками и очень хорошо понимал их разницу, поэтому у него такие замечательные фильмы. Он не переводит литературу на язык кино – он создает заново. А, кроме того, он же замечательный актер, это редкость – такой универсальный дар, чтобы человек мог всё, но Шукшин действительно был тем, кто очень подходил бы для Возрождения, это такой возрожденческий универсализм, хотя жил он в совсем другую эпоху.

Видите ли, чем мне ещё дорог и важен Шукшин. Будучи филологом, я не люблю так называемую филологическую прозу: она мертвая. И когда я читаю какие-то филологические упражнения, это вызывает у меня смешанные чувства: с одной стороны, человек владеет стилем, с другой, он всё-таки, вероятно, не до конца понимает, что такое литература. Когда мне приходится общаться со студентами-филологами, я говорю им, что, к сожалению, по моим наблюдениям, филфак к литературе не приближает: он учит грамотно писать, излагать свои мысли, но это ещё не литература, литература – это состояние души. Это по большому счету не может быть профессией, то есть это может быть профессией для автора любовных романов, детективов, человека, который хорошо владеет словом на уровне ремесла, но если ты ставишь перед собой самые высокие задачи, то твои тексты пишутся сердцем – не рукой. И вот, честное слово, это не пустая метафора. Чем больше я пишу и читаю, тем больше в этом убеждаюсь. Даже коряво написанные вещи мне дороже, чем такая филологическая гладкопись. Я говорю это совершенно искренне, потому что, несмотря на то, что я филолог, я забываю о своем образовании, когда пишу. Я должен понять, что это за герой, я должен его полюбить, даже злодея, пожалеть, а жалеть – это форма любви, я могу даже заплакать, я пишу как человек чувствующий и сочувствующий, только потом позволяю включиться филологу на этапе шлифовки текста. Я всё это к тому говорю, что Шукшин абсолютно настоящий, в нем нет ни капли пустого экспериментаторства, он говорит очень просто о своей боли или о своей радости, и при этом он ещё хорошо пишет. Есть писатели, в которых доминирует то или другое, – у Шукшина на высоте и чувства, которые необходимы для писательства, и умения. Это один из редких людей, у которых одно достойно другого.

Вы говорите, что «Лавра» должны экранизировать. Не боитесь, что вся метафизика текста исчезнет в кино?

Боюсь, конечно. Я подписал договор об экранизации и присутствую в киногруппе на основании, которое в титрах обычно формулируется как «при участии». Но моё участие состоит в том, что я создал концепцию сценария. Мне было предложено написать и сам сценарий – я отказался, потому что сценарий – это кропотливая работа, сплошное переписывание под режиссера, под главного актера. Пока что эта работа откладывается: трудно найти деньги на фильм. Как фильм, основанный на историческом материале, он требует больше средств, чем обычный, поскольку нужны костюмы, декорации, хотя я надеюсь, что всё не будет «костюмным», я не люблю «костюмного» кинематографа. Если продюсер фильма найдет финансирование и фильм будет сниматься, я приложу все усилия, чтобы эта метафизика, не детали повествовательные, не стиль, а метафизика, вы правы в постановке вопроса, сохранилась.

Тема нравственности – одна из ключевых в творчестве Шукшина. При этом для более ранних работ и писем свойственна довольно светлая, оптимистичная позиция, в более поздних чувствуется тревога, даже боль, связанная с нравственным состоянием народа. В одном из своих интервью о событиях 1917 года Вы сказали: «Дело было не в царе, а, на мой взгляд, в нравственном состоянии народа, которое к 1917 году было в весьма плачевном состоянии», получается, до 1917 года это состояния было, как минимум, удовлетворительным, позволяющим империи функционировать. Как вы считаете, любое поколение рефлексирует по поводу нравственности или ситуация действительно только ухудшается?

Видите ли, я не могу сказать, что нравственное состояние было благополучно до Октябрьского переворота или Революции, кто как это называет в зависимости от своих оценок. Просто после Октября 1917 года это неблагополучие вышло наружу и стало руководить поступками людей. На самом деле в благополучном обществе дурные наклонности подавляются общественным мнением, государственным аппаратом и т.д., а в неблагополучном все недостатки человеческие усугубляются: склонность к доносам поощряется, подсознательное, а иногда и сознательное желание зла ближнему в этой ситуации усиливается, как голос микрофоном, и возникает такое положение вещей, при котором, чем хуже ты, тем лучше, тем выше ты оцениваешься государством, его представителями. Но речь идет о том, что в дореволюционную эпоху уже было неблагополучие, потому что не бывает такого, чтобы вдруг на ровном месте – разворот на 180 градусов и вот такой мрак – нет, оно было, оно было прежде всего в духовной жизни народа. Знаете, такая поговорка есть: всяк крестится, да не всяк молится. На мой взгляд, в какой-то момент это приняло огромные размеры: крестились очень многие, и очень малое количество молилось по-настоящему. Церковь превратилась в министерство, и все это подтачивало и империю тысячелетнюю, и жизненный уклад, и, наконец, взорвалось в семнадцатом году. Год, заметьте, не самый сложный для России, бывали и хуже времена, но при этом как-то обходились без бунтов. То есть нет этой пропасти между дореволюционным состоянием и послереволюционным, просто дореволюционное состояние – это латентное, скрытое состояние, как болезнь бывает начинает человека точить, но этого ещё не видно, а потом вдруг она вырывается наружу и появляются признаки, она уже развивается открытым образом. Вот так, по моему, случилось после Октября 1917 года, когда православная империя превратилась вдруг в богоборческое государство. Кто мог подумать, в страшном сне такое не могло присниться, что Россия стала бы атеистической страной или была, по крайней мере, ею объявлена. Но причины тому есть, и, к сожалению, началось это не в 1917 году.

Вы писатель и в то же время ученый, специалист по древнерусской литературе. Как удается соединить в себе эти два начала и быть, по выражению одного издания, «ихтиологом и рыбой одновременно», не переживая когнитивного диссонанса?

Да, безусловно, трудно эти две стихии совмещать, и скажу честно, что мне с каждым годом это удается всё с большим трудом. Но я пытаюсь, потому что это две больших любви моей жизни. Знаете, как-то в одном из интервью был использован такой образ двоеженца, чеховский между прочим, кем-то вроде него я себя и чувствую, когда делю время между литературой и наукой; причем эти две дамы не соприкасаются, они живут в разных домах, и я захожу то в один, то в

другой, что-то обещаю в каждом случае, но эти обещания все хуже выполняются, потому что на меня навалился ещё какой-то огромный груз общественных обязанностей, к которым я отношусь с пониманием, но они принимают порой чудовищный размах. Достаточно сказать, что мне приходится в год только по премии «Ясная Поляна», членом жюри которой я являюсь, читать около ста романов. Кроме того, надо читать своих коллег, надо читать по науке какие-то вещи, чтобы не отстать, потому что наука – это как спорт: если немного не потренировался, ты уже безнадежно отстал. И всё в совокупности немножко тормозит процесс во всех направлениях. Это как на шоссе, когда собирается множество машин, то получается не то к чему в идеале стремились – к перевозке большого количества пассажиров, а пробка, и вообще никто никуда не попадает

А коллеги по Пушкинскому дому читают Вас? Как относятся к творчеству?

Да, читают. Коллеги у меня очень толерантные люди. Они были первоначально несколько удивлены тем, что я стал заниматься литературой не только как историк или теоретик, но и как практик, но, по-моему, они сочувственно, хорошо относятся к тому, что я делаю, хотя они, как и я, понимают, что это очень разные вещи, и литературовед необязательно может быть хорошим писателем, так же, как и писатель вовсе необязательно станет хорошим литературоведом, если начнет этим заниматься. Была такая история: Набоков хотел устроиться в один из американских университетов, и Роман Якобсон был против того, чтобы его взяли туда в качестве профессора. Кто-то сказал: «Но Набоков – это крупнейший русский писатель», на что Якобсон ответил: «Слон – это крупнейшее животное, но мы же не зовем его возглавить кафедру биологии». Так что это разные занятия, и положительная оценка моих коллег для меня важна, потому что они, как никто другой, могут оценить, получилось у меня или не получилось.

Профессор Никольский в Вашем романе «Соловьев и Ларионов» сдерживает романтический пафос будущего ученого-историка предостережением о том, что настоящая наука скучна. Вы поступили в аспирантуру Пушкинского дома будучи весьма молодым человеком. Не казалось ли тогда вам самому изучение древнерусской литературы скучным занятием?

Конечно, это всё написано на собственном опыте. В Пушкинский дом я пришел восхищенным человеком, любителем древнерусской литературы, но любителем во всех смыслах: и в смысле «любить», и как непрофессионал. Я пришел, и меня спросили: «Чем вы хотите заниматься?» Я ответил, что Киево-Печерским патериком, мне он очень нравился, это замечательный текст. На это мне сказали: «А вы знаете новые рукописи этого патерика?» Я говорю: «Нет». И тогда меня довольно холодно спросили: «Так чем же вы собираетесь заниматься? Писать, как он прекрасен? Так это и без вас понятно». Наука умножает знание, а не воспроизводит его. Воспроизводит научно-популярная литература или просто литература, но наука дает новое знание. А новое знание имеет, как правило, частный характер, оно состоит в деталях, времена могучих открытий давно прошли, по крайней мере в филологии. Выражаясь по-гоголевски: открытия редко, но бывают. Когда я пишу, что наука скучна, на самом деле я цитирую одного из своих учителей, замечательного петербургского профессора-антиковеда Александра Константиновича Гаврилова. Он в качестве примера приводил своего учителя Аристида Ивановича Доватура, который говорил, что можно о Феогниде написать: ах, какой он хороший, любоваться им, пересказывать его – наверное, это весело читать. А можно сказать, что о любви у Феогида строки № 105, 350, 375 и составить каталог высказываний Феогида о любви, потом о дружбе. В этом вроде бы нет полета, это не поместишь в одну фразу, потому что, когда человек в одной фразе высказывает суть своей книги, это красиво, но если научное исследование можно свести в одной фразе, то это не наука, это публицистика, вещь не менее важная и нужная, но не наука. Настоящая наука не всегда, но в большинстве случаев – это каталог, перечень тех или иных явлений, это положительное знание, которое можно опровергнуть, если оно неверно. Так вот в этом отношении наука «скучна», и я всю жизнь занимался так называемой «скучной» наукой, но «скучной» я беру в кавычки, потому что, разумеется, она не скучная. Если бы вы видели какие драмы происходили при обсуждении генеалогии древнерусских текстов, на заседаниях бывали истерики, драк не было, но, кажется, дело к этому шло. Когда я говорю «скучна», я имею в виду внешнего наблюдателя. Для человека, который со свежего воздуха зайдет на такое обсуждение, это будет неинтересно и скучно, но для

посвященных это вещи очень интересные. Так, человек, не имеющий представления о шахматах, увидев играющих, взгляда на них не остановит, но насколько этот процесс захватывает тех, кто понимает, кто играет. Так вот наука – это захватывающее дело для посвященных.

В своих текстах вы прибегаете к приему квазинаучного цитирования и ссылок, будь то многочисленные примеры в романе «Соловьев и Ларионов» или упомянутая в «Лавре» несуществующая книга «Амброджо Флеккиа и его время». Что это? Веяние постмодернизма на уровне «текста в тексте», своеобразная игра с читателем и попытка немного пошутить над самой наукой или создание среды, в которой вам, как ученому, более комфортно себя ощущать?

Во-первых, мне, конечно, комфортно, я очень люблю ссылки, хотя, надо сказать, я не являюсь вершиной в области ссылок. Есть такой немецкий исследователь Герхардт Подскальски, у которого две тысячи ссылок в монографии. Но если говорить о романе «Соловьев и Ларионов», то, разумеется, он написан не в серьез, это до некоторой степени пародия на научное исследование, это книга вроде бы написана на материале научной жизни, но на самом деле она не столько о науке, сколько о человеке; и там профессор Никольский, о котором вы говорите, замечает, что, когда он что-то исследует, то исследует в первую очередь себя, и это надо понимать. А ссылки – это, конечно, шутка, это попытка изобразить другую крайность (мы говорили о существовании вне науки и непонимании, что в ней вообще происходит); есть такие ученые, которые выстраивают дикие схемы, как схемы авиалиний, и им нравится процесс черчения, они устанавливают какие-то малоинтересные, малозначительные связи между текстами или выдумывают их, причем все это окружено десятками тысяч сносков. Это тоже большой вред для науки, потому что это псевдонаука. Например, академик Лихачев – великий ученый, но писал он очень просто. Что касается постмодернизма, то я не отношу себя к постмодернистам. Я использую иногда какие-то приемы постмодернизма, как и приемы реалистические и какие-то другие. Особенно мне странно, когда в постмодернизме упрекают «Лавра». Это не постмодернистская вещь. То, что кажется кому-то постмодернизмом в «Лавре», на самом деле – древнерусская поэтика, которая совпадает с постмодернизмом в каких-то существенных частях. И поэтому я говорю и мне неоднократно приходилось об этом писать: я полагаю, что через постмодернизм мы до некоторой степени возвращаемся к средневековой поэтике.

Если возможно проследить связь древнерусской поэтики и постмодернизма, означает ли это, что литература следует своим законам внутреннего развития, или же история литературы – это история отдельных авторов?

Безусловно, все держится на личностях, но личности существуют не в вакууме, они представляют определенный стиль, обычно это стиль эпохи. Даже такие гиганты, как Бах или Моцарт, пользовались стилями своей эпохи, они их развивали, углубляли, но в основе этого были вполне определенные музыкальные стили. Иначе быть не может, потому что это не будет понятно: понятно может быть только в контексте. Представьте себе, что Альфред Шнитке попал каким-то образом в XVIII век со своей музыкой. Даже самые проницательные умы предположить не смогли, что в XX веке это будет один самых значительных композиторов, они сочли бы, что это какофония и что это не имеет отношения к искусству. Все дело в том, что любое явление существует в традиции, независимо от того, следует оно или преодолевает традицию. В любом случае оно реагирует на традицию в положительном или в отрицательном ключе, и поэтому журнал Пушкинского дома, который я редактирую, называется «Текст и традиция». Любое искусство контекстуально, оно создается в каком-то контексте и по большому счету должно восприниматься в нём, но происходит иначе, и это тоже прекрасно. Забывают о контексте и истолковывают эти тексты иначе, вкладывая совершенно новый смысл. Так было, например, со «Словом о полку Игореве», написанном в XII веке, но в конце XVIII–начале XIX, когда в России развивался романтизм, «Слово о полку Игореве» трактовали вполне в романтическом ключе, хотя к Древней Руси романтизм не имеет никакого отношения.

Насколько важен личный опыт для писателя в смысле переживания событий, описываемых в книге? Например, Вы около пяти лет жили в Германии, и в Вашем романе «Авиатор» образ доктора-немца Гейгера – один из самых четко прописанных, как будто у него был реальный прототип. Или всё можно представить умозрительно, изучить и реконструировать в своей голове?

Я бы сказал, что опыт имеет решающее значение, потому что, если это не опыт, а, допустим, литературный фантом, то он лишен жизни и малоинтересен. Когда-то Лесков (я думаю, и Шукшин мог так говорить о себе) сказал, что он не выдумыватель, а счастливый собиратель сюжетов. Он очень редко придумывал, он слушал, записывал какие-то вещи. В каком-то смысле это мог бы сказать о себе и я. Я выдумываю с трудом, у меня фантазия имеет довольно слабые мышцы. Вообще, поговорка есть, что правда чудеснее вымысла, и это так.

В интервью Владимиру Познеру Вы признались, что Владимир Набоков и Марсель Пруст значительно повлияли на вас как на писателя. А кто ещё формировал Вашу языковую выразительность?

На меня влияло огромное количество людей, вся русская классическая литература и не только русская. Но наибольшее впечатление на меня произвел, пожалуй, Гоголь. Это началось с детства, и, как ни странно, во взрослом возрасте ничего не поменялось. Томас Манн на меня колоссальное впечатление произвел, Толстой, Достоевский – это так положено, в этом нет ничего удивительного. Но Гоголь занимает особое место в моей душе, куда не дотянуться даже Прусту и Набокову.

На обложке романа «Лавр» приведены ваши собственные слова: «Есть то, о чем легче говорить в древнерусском контексте. Например, о Боге. Мне кажется, связи с Ним раньше были прямее. Важно уже то, что они просто были. Сейчас вопрос этих связей занимает немногих, и это озадачивает...» В чем вы видите причины разрушения этих связей? Что должно было произойти, чтобы Бог перестал быть нужен человеку? Были ли конкретные исторические события, люди, запустившие этот механизм, или это постепенно развивающийся процесс, начавшийся в тот момент, когда Ева сорвала яблоко, такой своеобразный бунт подростка против родителей?

Видите, с женщинами всегда какие-то неприятности: то яблоко сорвут, то ещё что-то, но тем они и прекрасны. В общем, всё, наверное, развивается в правильном направлении, потому что без яблока не было бы опыта, и Господь дает этот опыт для того, чтобы прийти к новому состоянию, может быть, к тому же райскому состоянию, но уже не чистой доской, не *tabula rasa*, а с каким-то сложным и даже печальным опытом. Что касается того, что общество думало о Боге, а сейчас не думает. Но вы ведь понимаете, что нельзя сказать, что тогда все были дураки, а сейчас все умные, у людей и тогда, и сейчас был один и тот же уровень IQ и способность рассуждать и анализировать. Дело в другом – была совершенно иная эпоха. Я часто цитирую статью Бердяева 1923 года «Новое Средневековье», где он делит эпохи на дневные и ночные. Дневные – это ясные, прекрасные эпохи, такие как Античность, Новое время или модерн, а ночные эпохи – это, допустим, Средневековье. Ночью человек в глубинах подсознания перерабатывает то, что он получил днем. И вот также Средневековье, которое наиболее глубоко постигало тот опыт, который был у человечества, и поэтому в Средневековье действительно была вот эта прямая связь с Богом, тогда не было неверующих людей. Были люди, которые верили с точки зрения церкви не так, но они верили, такого глухого атеизма, в общем, не было. Вот, скажем, волхвы, которые описываются в летописях или в житиях, всё равно существуют в одной понятийной системе с христианами, всё равно это верующие люди, только верующие в другое. Но на самом деле мы же знаем, что атеизм – это тоже вера, вера в то, что Бога нет. И уж никоим образом нынешние атеистические настроения не связаны с техническим опытом, потому что существование Божие и вообще метафизический мир не охватывается наукой. Знаете, в 60-е годы была замечательная история с одним из русских иерархов, когда уполномоченный по делам религии после полета Гагарина сказал, что Гагарин летал в космос, но не видел Бога. И уполномоченный говорит

иерарху: «Вы должны это повторить, потому что иначе к Вам будут большие претензии». И этот иерарх сказал: «Да, Гагарин летал в космос и не видел Бога, но Бог его видел». Поэтому наука или прогресс в технике абсолютно не решают проблемы бытия Божия или отношения к Богу. Я бы сказал, что, на мой взгляд, сейчас оканчивается эпоха Нового времени и наступает другая эпоха. Это не Средневековье, это что-то иное, потому что в чистом виде никогда ничто не повторяется, но сейчас наступает эпоха более внимательного отношения и к самому себе и к Творцу, я в этом убежден.

Леонид Парфёнов в одном из своих фильмов сказал, что мы, современные жители России, «произошли» не от дореволюционных, как современные греки не от древних греков. Можно ли считать, что пласт древнерусской культуры для нашего времени также утрачен, средневековые реалии потеряли всякий смысл?

Нет, я бы здесь, пожалуй, не согласился, потому что культура – она как ручей, и в частности, древнерусская культура, которая является частью русской культуры вообще. В какой-то момент она видна, этот ручей бежит на поверхности, а в какой-то момент он уходит под землю – такое с ключами бывает – и течет довольно долго под землёй, а потом – раз и возникает где-то, и это та же вода, холодная, свежая, просто она долгое время текла под землей. И с культурой точно так же. Ну сколько, семьдесят лет нельзя было говорить ни о Боге, ни о каких вещах, связанных с религией? Но сейчас к этому вернулись. Вернулись не всегда правильным образом, иногда, знаете, наблюдаешь такое восхищение неопитов, которое может вызывать раздражение, но тем не менее, когда все привыкнут к новому статусу, к тому, что у нас государство больше не атеистическое, к тому, что у нас есть частная собственность, идея права, выборы, перекосы уйдут, и не будет тех недоразумений и споров между верующими и неверующими, которые порой возникают сейчас.

Интересна концепция восприятия себя древнерусским автором текстов. С одной стороны, обилие самоуничижительных характеристик («аз грешный, неразумный» и т. д.), с другой, осознание того, что при всей «ограниченности» именно ему, автору, по божественной милости дана возможность создавать литературный памятник. Верно ли вообще такое истолкование концепции и насколько искренне древнерусский автор относился к этой позиции? Не было ли это своеобразным клише?

Существуют так называемые формулы самоуничижения, когда автор говорит, например, описывая житие святого, что на его месте должен быть более просвещенный человек, а он «в Афинах не учился», но поскольку лучшего никого нет, то расскажет о святом он. Это так называемые топосы – общие места. Так пишут очень многие агиографы, то есть авторы житий. Это, конечно, не имеет никакого отношения к реальности, потому что Афины во время русского Средневековья были уже самым глухим европейским захолустьем и учеба там не делала человека образованнее. Это то, что Дмитрий Сергеевич Лихачев называл литературным этикетом. То есть в литературе Средневековья говорили и писали не столько то, что было действительно, сколько то, что должно было быть. И эта литература была во многом литературой формул. Были разные формулы, это очень интересная тема, но среди прочего были формулы самоуничижения. И если человек не использовал их, то это было странно: то ли он загордился, то ли он просто не знает, как правильно писать. Интересно, что эти формулы уничижения особенно тщательно использовались выдающимися мастерами слова, как сказали бы сейчас, такими как Пахомий Серб или Епифаний Премудрый. Уж они знали, как писать, но тем не менее говорили, что «в Афинах не учились», хотя это были люди с первоклассным образованием в своей сфере.

Расскажите, пожалуйста, о прототипах Лавра и других юродивых в летописях. Образы их реальны в книге или художественно дополнены? Как выглядит юродство в современной России? Прислушиваемся ли мы к ним, юродивым, сегодня?

У Лавра, безусловно, есть прототипы: это Алексей, человек Божий; Василий Блаженный; новгородский святой Никола Кочанов (он послужил прототипом Фомы в романе «Лавр»). Что касается юродства в современности, понимаете, юродство – это не только эксцентрика. И если

человек, допустим, прибавляет гениталии к брусчатке Красной площади, то это не юродство, потому что в этом нет духовной составляющей. Что такое юродивый? Юродивый – это святой, который стесняется своей святости, который не хочет, чтобы знали, что он святой, поэтому он строит из себя дурочка и скрывает свою святость. Как говорит один древнерусский текст, «бежа славы от человек» (избегая человеческой славы). Те, кто совершает сейчас разные эксцентричные поступки, они не «бегут славы от человек», они её ищут. Это прямо противоположно тому, к чему стремился юродивый. Может быть, самое важное об одном юродивом говорит древнерусское песнопение: «Во дне убо посмеяся миру, а ночью оплака его». Иными словами: для того, чтобы смеяться над миром, надо уметь его оплакать. Я сомневаюсь, что наши современники, те, кто смеется над миром в той или иной форме, его оплакивают. И тут мы опять приходим к Гоголю. Гоголь смеется над миром, допустим, в «Мертвых душах», но это смех сквозь невидимые миру слёзы.

Тема «условного времени» – сквозная для Ваших текстов (времени как измерительной опции вообще нет, а есть лишь некий пространственно-временной континуум, в котором уже заложены все события, упорядоченные лишь для удобства и по слабости человека). Особенно ярко это выражено в романе «Лавр», герои которого осознают, что время не линейная категория, а, скорее, циклическая или спиралевидная. Работы каких Ваших предшественников помогли сформулировать эту идею? Разделяете ли Вы сами эту концепцию или же это только отображение мировоззрения средневекового человека?

Я сам немножко средневековый человек, я занимаюсь Средневековьем тридцать лет, Средневековье стало моими буднями, так что неудивительно, что эта концепция времени мне близка. Что касается тех, кто на меня влиял, то, прежде всего, это, конечно, древнерусские тексты и те, кто их анализировал, такие люди, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, который хорошо понимал древнерусские особенности восприятия времени. Собственно говоря, такое понимание времени состоит в том, что время, простите за тавтологию, – явление временное. Была эпоха, когда времени не было, и будет снова эпоха, когда времени не будет, после апокалиптических событий. Но особенность средневекового времени состоит в том, что оно всегда сопоставляется с вечностью, и в этом его отличие от нынешнего времени, потому что нынешнее время плоское, оно линейно, горизонтально, течет себе и течет. Средневековое понимание времени включало и вертикальные линии, уходившие в вечность. Причем это было постоянным собеседованием с вечностью на уровне каждого отдельного человека, он, молясь, как раз и преодолевал время.

Да, герои «Лавра» живут в контексте вечности, они её предвкушают. Вам самому не страшно осознавать идею вечности, применять к себе? Ведь это очень ответственная категория.

Идея вечности – это то, что присутствует в голове любого верующего человека. Например, когда мы поем 11-й член «Символа веры» – «Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь», это как раз и есть выход в вечность, в будущий век. Будущий век, его, знаете, как ещё называли? Восьмым днем. Семь дней творения – как семь эпох было. И восьмой день – день «немерцающий», говорилось в древних текстах. Так что любой христианин, разумеется, стремится эти ворота в вечность держать открытыми, и не даром говорится о том, что смерть человека – это его день рождения для вечности.

Арсений, главный герой романа «Лавр», всю свою жизнь оборачивает в попытку спасения души любимой Устины, погибшей по его вине, от адских мук. На ваш взгляд, жесткая дихотомия «ад-рай» без промежуточного чистилища, как в западной традиции, может определять мировоззрение средневекового и, может быть, современного русского человека?

Видите, эта сфера, касающаяся эсхатологии, судного дня, ада,рая, – одна из наиболее таинственных сфер в христианском вероучении. Хотя она и разрабатывалась, но все-таки есть вещи, которые в значительной степени продолжают оставаться тайной. Я думаю, что большинство православных так же, как и католиков, вряд ли способны всерьез обсуждать идею необходимости

чистилища или то, какую роль оно играет. Все-таки основное – это наличие черного и белого, рай и ада. В конечном счете к этому всё сводится и в католической традиции. Просто чистилище – это, может быть, попытка осмыслить вот эту тайну в том отношении, что всегда есть какие-то промежуточные цвета. Вы правы, когда говорите о том, что у нас этот контраст вроде бы резче, но, может быть, это в каком-то отношении неслучайно. Православная культура была гораздо более пуристична, чем культура средневекового Запада, и действительно отличалась меньшим количеством полутонов, а то, что русская средневековая культура была гораздо более аскетична, чем западная, – в этом сомневаться не приходится, и этому есть свое объяснение. Все дело в том, что характер литературы или книжности на Руси и в Европе при всем сходстве христианской литературы был разным. У запада, как и у Византии, был определенный выход в Античность. На западе учили латынь, и на латыни вели богослужение, а Византия развивала греческую культуру, и там был доступ к греческой Античности, нельзя сказать, что обширный, но был. На Руси этого не было, потому что Русь зависела от перевода, а переводы были прерогативой церкви – естественно, церковь не переводила светских вещей. И вот этот фильтр с самого начала определил особенности русской культуры.

Пространство в Ваших текстах тоже по-своему условно, хотя и не так, как время. Тем не менее пространство Русского Севера играет довольно заметную роль в Ваших книгах: это и Белозерье, Псков в «Лавре», и Соловки в «Авитаторе», и даже отдельная работа «Часть суши, окруженная небом». Такой выбор не случаен?

Русский Север я очень люблю. И надо сказать, что мои предки по материнской линии происходят с Русского Севера, они из Тотьмы, это в Вологодской губернии. В Тотьму я временами приезжаю и чувствую себя там очень хорошо. Но концепция пространства неотделима от концепции времени, это то, что Бахтин называл хронотопом, – пространство-время или время-пространство. Вот если взять роман «Лавр», то ведь «Лавр» – это преодоление не только времени, но и пространства. Вы помните, там старцы говорят на расстоянии, и, кроме того, Арсений предпринимает сложнейшее путешествие в Иерусалим. А когда он приходит, старец говорит ему там, в храме Гроба Господня: «А зачем ты ходил? Ты же мог это всё сказать Господу на Белом озере или в Кирилло-Белозерском монастыре» и советует не увлекаться горизонтальным движением. На что Арсений задает вопрос: «А чем увлекаться?» Он говорит: «Увлекайся вертикальным движением, к небу».

Концепция нелинейного времени и заложенности в бытие по умолчанию всех событий подталкивает к мысли о предопределении. Не делает ли эта концепция человека пассивным?

Я полагаю, что человек – это творение Божие. И человек создан по образу и подобию Божию. Так вот в подобие входит и свобода – свобода человека как подобие божественной свободы. Разумеется, она не безгранична, но она очень велика. И поэтому человек свободен поступать так, как ему угодно. А что такое свобода? Свобода – это возможность выбора на каждом этапе; каждый час, каждую минуту выбирать между добром и злом. Вот это и есть свобода, и человек выбирает. Другое дело, что свобода Бога выше человеческой. Но самые сложные вещи решаются парадоксом. И парадокс в данном случае состоит в следующем: с одной стороны, человек свободен делать выбор и он этот выбор делает, с другой стороны, этот выбор уже как бы отражен и существует где-то, но это «где-то» не имеет ни времени, ни пространства, поэтому нельзя сказать, что что-то определено заранее. То есть какие-то события уже есть, но опять-таки слово «уже» здесь будет неправильным, это вне времени. Есть выбор человека и есть события. С точки зрения Того, Кто существует вне времени и пространства (речь идет о Боге), события существуют не после, не до того, когда человек их выбрал. Просто человек выбирает те или иные события или порядок хода событий, но в каком-то безвременном сегменте бытия эти события существуют параллельно.

В романе «Соловьев и Ларионов» от лица выдуманного исследователя высказывается мысль: «...демократия не является понятием универсальным и в общем-то не обязана

характеризовать все времена и народы. Установленная в не подготовленных для неё странах, она способна принести самые печальные плоды». Россию, по вашему мнению, правомерно отнести к таким странам?

Я не говорю, что Россия радикально недоступна для демократии, я говорю о конкретной современной ситуации. Я сторонник демократии, мне кажется любая власть, не учитывающая потребности общества, долго не держится. Это я видел и как историк древнего мира, и в более позднее время я это наблюдаю. Но есть разного рода демократии. Есть демократия западного типа, которая тоже далеко не совершенна, она возникла не так давно по историческим меркам. Западное Средневековье было, если рассматривать с точки зрения демократии, что немножко забавно, гораздо более жестким, чем наше. Так что тут абсолютно не стоит думать, что у нас какая-то вечная отсталость – нет – просто разные пути. Западная демократия какие-то проблемы решает, но каких-то она и не решает, потому что и при западной демократии находятся технологии, по которым общество поворачивают в ту сторону, в которую требуется, и, в общем, любую правду после того, как с ней поработает политтехнолог, мама родная не узнает, так что не надо переоценивать. Что касается нашей страны, у нас есть определенные традиции. Но традиции – это не только ведь хорошо, почему-то у нас используют положительную коннотацию слова «традиция», а просто традиции бывают хорошие и плохие. Так и относительно демократии. Почему я полагаю, что демократия западного типа пока не для нас? Не потому что мне эта демократия не нравится, нет. Живя на Западе, я смог ощутить все её преимущества, она вполне симпатична. Речь вот о чем идет. Демократия не должна занимать место Господа Бога и она не должна быть конечной целью. Демократия – это только инструмент, это регулятор общественный. Там, где он работает: в Германии, во Франции, в Англии, в Америке, он уместен. Когда мы пытались строить на демократических основаниях нашу страну, допустим, в 90-е годы, было сделано много ошибок. Мне кажется, мы постепенно с Западом будем сближаться, но я надеюсь, что в чем-то хорошем. Запад что-то будет перенимать у нас, мы – у Запада. Почему я так полагаю? Если оглянуться вокруг, можно заметить, что европейская культура свертывается что ли, она уменьшается в своем влиянии, возникают какие-то новые цивилизации, они развиваются, какие-то народы, которые не манифестировали себя на международной арене, сейчас выходят вперед. Европейская культура, цивилизация уже, как выясняется, перестает занимать ведущие позиции. И несмотря на нынешнее противостояние Запада и России, мне кажется, они, эти противостоящие стороны, поймут, что нужны друг другу.

В одном интервью на вопрос о современном состоянии Церкви вы ответили, что сейчас она находится в стадии становления и что непросто моментально обрести своё лицо после семидесяти лет атеистической пропаганды. В последнее время всё чаще люди стали высказывать опасения по поводу сближения Церкви и государства. На Ваш взгляд, их переживания оправданы?

Мне кажется, что такого рода переживания создают иллюзию, что Церковь – это какие-то пришельцы с Марса, и вот прогрессивная общественность волнуется, будут они пожирать землян или не будут. На самом деле, если вспомнить, что вся наша средневековая культура – это церковная культура, она создавалась в церковной оболочке, мы осознаем, что это не какие-то чуждые нам элементы, это часть нашей культуры, нашей истории и, наконец, нашего общества. Есть ли у Церкви недостатки? У отдельных людей, которые представляют Церковь, как мы знаем, они могут быть, и такого в истории человечества не бывало, чтобы не было недостатков у священников, у монахов. Но надо понимать: они же все-таки, как выясняется, не с Марса, они отражают нашу историю, наше общество. Они – дети своего времени, дети очень трудной эпохи, которую прошла наша страна. Вот посмотрите: XX век дал самое большое количество святых за всю историю Русской церкви, потому что такого мученичества в таких масштабах не было никогда в России. Мог ли этот мученический период пройти бесследно? Конечно, нет. Есть свои сложности. Но надо относиться к Церкви, как и ко многим проявлениям нашей жизни и нашей истории, как к своему, а не как к чему-то, с чем надо бороться заведомо. Я абсолютно не являюсь сторонником теократии, как раз я считаю, что это вредно, но я не вижу ни малейшей опасности

теократического правления в нашей стране, так что здесь можно расслабиться тем, кто волнуется на этот счет. Мне есть с чем сравнивать. Поверьте, на Западе Церковь играет гораздо большую социальную роль, чем Русская православная церковь, которую сейчас свели к трем буквам, и это, на мой взгляд, симптоматично. Так вот я совершенно ответственно говорю, что в той же Германии, где я жил, Церковь имеет гораздо больший социальный вес, чем православие в России. Церковь в Германии ведет филантропическую, педагогическую, медицинскую работу, и это нормально. Понимаете, есть такие вещи, которые никто не будет делать, кроме Церкви, например, ухаживать за больными, помогать бедным и т. д., есть какие-то фонды, но наиболее естественна эта роль для Церкви. Надо просто смотреть на историю своей страны, на происходящее ныне всё-таки тёплыми глазами. Это не значит, что нужно одобрять вещи, которые характеризуют каких-то священнослужителей плохо, – нет – это вещи, о которых надо говорить. Просто за деревьями нужно видеть лес. Нужно видеть громадную историю, которая в каком-то смысле для любого государства, не только для России, является историей Церкви.

Вы являетесь членом жюри литературной премии «Ясная Поляна». Есть ли, на ваш взгляд, в современной русской литературе ключевые тенденции? И почему в последнее время авторы стали часто обращаться к тематике 30-х гг. XX века, к вопросам репрессий и насилия над личностью? Неужели осталось что-то, что ещё не сказали Солженицын, Шаламов и Гинзбург?

Совершенно определенно в современной литературе есть тенденции, которые особенно ярко были выражены в последнее десятилетие: литература становится глубже и метафизичнее, причем это не просто мое мнение, это статистика, которая говорит, что уменьшились продажи литературы так называемого «трэша» и увеличились продажи так называемой серьезной литературы. И мне, как члену жюри премии «Ясная поляна», это видно. Знаете, как мы оцениваем? Мы оцениваем, прежде всего, с литературной точки зрения, то есть как это сделано, но на последнем этапе мы рассуждаем так: а понравился бы он Льву Николаевичу, поскольку это премия его имени. Так вот все больше текстов, на наш взгляд, понравилось бы Льву Николаевичу. Относительно того, что возникла историческая тема. Понимаете, Солженицын и Шаламов сказали самое важное, они рассказали об этом времени, и их, думаю, никто никогда не превзойдет. Это люди, которые заставили содрогнуться весь мир теми описаниями, которые они дали. Но задача нынешних писателей, как я это понимаю, состоит не в том, чтобы добавить что-то к тому, что описано Солженицыным, Шаламовым, Львом Разгоном (у нас велика эта литература). Речь идет о том, что тут не только про лагерь, тут возникло что-то ещё. Мы с Еленой Шубиной (руководитель «Редакции Елены Шубиной» в издательстве «АСТ» – Г.Б.) придумали термин «неисторический роман» сначала как подзаголовок «Лавра», а потом Елена Данииловна сказала, что это может быть обозначением целого жанра. То есть сейчас появляются романы, которые по форме вроде бы исторические, но на самом деле они о современности, о чем бы там ни писали: о советской действительности, о Руси XV века. Решаются проблемы современности, иначе не было бы интереса к этим текстам, потому что каждое время всё равно пишет о себе и о своем современнике. Просто иногда удобнее описывать себя, выйдя из своего времени. Художник, чтобы написать автопортрет, смотрит в зеркало. Так вот эти исторические эпохи играют роль зеркала, в которое смотримся мы, современники, и описываем себя по контрасту с тем, что было прежде, или, наоборот, замечаем общие черты. Эта роль зеркала – важная роль истории вообще. Как человек, который занимается историей, могу сказать: этот метод – смотреться в прошлое, как в зеркало, существовал ещё в древности, через ранние периоды всегда пытались понять самих себя. Поэтому, на мой взгляд, важны сейчас вот эти неисторические романы.

У вас не было желания плотнее приблизиться к современности в своих текстах или большое действительно видится на расстоянии? И, если не секрет, над чем работаете сейчас?

Сейчас я пишу роман, который, можно сказать, основан на самой современной современности. Это роман о человеке, который является моим одногодком, имеет примерно мой опыт, но вместе с тем нельзя сказать, что это роман автобиографический, обо мне: мы далеки друг от друга с моим героем, он по-другому устроен. Так что сейчас я, наконец, полностью перешел к современности.

Другое дело, что я это делаю осторожно, потому что современность имеет очень неприятное свойство поглощать – можно просто не вынырнуть, погрузившись в современность, в детали, в будни, и тогда это вдруг лишится метафизики, которая для литературы очень важна, и превратиться в публицистику, которая тоже важна, но это совсем другая история и это к литературе не имеет отношения. Поэтому у меня задача, с одной стороны, обратиться к современности, а с другой, не стать публицистом.